**ТАЙНЫ «РЕМЕСЛА»**

**К 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова**

Передо мной стоит увлекательная, но трудная задача – написать про тот период его жизни, о котором он сам превосходно написал в «Ремесле» – от возвращения из армии до работы в Америке. Казалось бы – в «Ремесле» он написал все. Уточним – все, что на данный момент хотел раскрыть (или придумать) для создания яркой, убедительной вещи –убеждающей в том, в чем он хотел нас убедить. Убедил! Хотя многое из тех лет Довлатов «вырезал» – не хуже какого-нибудь цензора. В частности – там почти отсуствует личная, семейная тема. А если она и есть –   
то в причудливых вариациях. С присущей ему щедростью таланта Довлатов изобразил свое знакомство с женой в трех разных сочинениях по-разному: то ее забыл друг Гуревич после выпивки у Довлатова, то она зашла к нему агитатором перед выборами, третий вариант (и опять другое имя) – они познакомились в мастерской знаменитого художника. Но в действительности (пусть это выглядит и не так интригующе), все произошло так, как говорит Лена: они увидели друг друга во время одной из побывок Довлатова в знаменитом кафе «Север» на Невском, потом несколько раз пересеклись случайно, потом – сошлись. Так что Довлатов уже знал, кто ждет его в Ленинграде после армии. Лена – скромная и надежная, терпеливая и понимающая, была спасением для Довлатова – тем более после коварной Аси, которая только рвала ему душу, да и в роли «солдатки», когда Довлатов был в армии, проявила себя не лучшим образом. Любой нормальный дембель, вернувшись   
с армии, так бы этого не оставил. Лена была противоположностью Аси –   
при этом не уступала ей внешне, была, по определению Сергея, «красива какой-то древней красотой». Вспоминает Лена:

Когда Сережа вернулся из армии, сразу стало понятно, что он будет заниматься литературой, к тому времени у него уже были написаны рассказы на армейском материале. Помню, еще до того как я переехала в коммунальную квартиру на Рубинштейна, мы снимали крохотную пятиметровую комнату в Автово. Сережа тогда расчитывал, что по состоянию здоровья ему удастся уйти из армии пораньше, и ему дали длительный отпуск. В той комнатке он и написал первое «серьезное» произведение: маленькую повесть «Капитаны на суше». В переработанном виде ее эпизоды позже вошли в «Зону». Повесть нигде не публиковалась. Рукописный ее вариант в толстой «общей» тетради был прочитан небольшим количеством знакомых. Потом эта тетрадь исчезла. По возвращении из армии были написаны новые рассказы. С них и началась биография писателя.

После армии Сережа писал очень много и довольно быстро. Он старался использовать для этого любую возможность и писал даже в рабочие часы, если это удавалось. Постепенно, когда он уже становился профессиональным писателем, Сережа стал предпочитать работать утром.

«В рабочие часы» – здесь подразумевается, очевидно, его работа в многотиражке Кораблестроительного института «За кадры верфям». Довлатов работал там до 1969 года – потом уступил это место Лене.

Я демобилизовался и, находясь под впечатлением увиденного в лагерях особого режима, стал писать рассказы и рассылать их по редакциям. Нормой для меня в те годы было писать по одному рассказу в день, и, соответственно, я рассылал по газетам и журналам семь пакетов в неделю.

Получал я почти одинаковые ответы. «Ваш рассказ нас заинтересовал, но по понятным вам причинам опубликован он быть не может. С уважением…» Помню, как раздражало меня это «с уважением»… Какое уж тут может быть уважение к человеку, посылающему в редакцию свой рассказ, который по понятным самому автору причинам не может быть опубликован!

Еще одна блистательная довлатовская фраза!.. но как всякая блистательная фраза – она не отражает всей реальной, рыхлой и корявой жизни, отбрасывает все лишнее. А «лишнее» здесь то, что на самом-то деле Довлатов догадывался, если твердо не знал, что рассказы его не могут быть опубликованы. И, увы, не только из-за политики. «Политики»-то у него как раз было меньше, чем у Солженицына и Шаламова, а их вещи уже были опубликованы и имели шумный успех. Не только в политике дело! В добавление к политике нужно что-то еще… что перевешивало бы естественные страхи редакторов той поры. И Довлатов, я думаю, это понимал, отчего отчаяние его становилось вовсе не меньше, а больше. Дело было как раз в рассказах, а не в «чудовищном окружении», пропустившем ведь все-таки Шаламова и Солженицына! Вспоминает его близкий друг Михаил Рогинский:

Сережа начинал робко, я могу даже сказать – непрофессионально. Однажды он обратился ко мне с вопросом, сможет ли он зарабатывать на жизнь литературой. Я ему достаточно определенно сказал: нет. Он писал какие-то рассказы о спортсменах, все это казалось ходульным и надуманным. Я не верил в него как писателя – и ошибся, как известно.

«Ремесло» посвящено лишь внешним препятствиям, несправедливостям и гонениям со стороны окружающей жизни – качество рассказов, с которыми происходят злоключения, как бы не рассматриваются, они как бы априори совершенны – несовершенен лишь мир. Разумеется, такая «условность» впечатляет сильней, вызывает большее сочувствие к автору. Но – если в реальности… Рассказы свои тогда он довольно широко раздавал – считая возможным (в отличие, скажем, от меня) постепенное их «обкатывание» в чужих руках на пути к совершенству.

Как сейчас вижу тоненькую пачку его рассказов у себя на столе – уже слегка мятые, с загнутыми краями. Тусклый текст «второго» или даже «третьего» экземпляра машинописного текста. Помню – именно как машинописный текст их я и воспринимал. К «машинописи» были другие, свойские, заниженные требования. Тогда многие писали «машинописные тексты» – явно не предназначенные для официальной печати, а как бы даже вопреки ей. Вот вам! Скомканно и небрежно!   
А чего стараться-то? Все равно ведь не напечатаете! И эта демонстративная «скомканность и небрежность» читалась не только во внешнем облике тех листков, но и в скомканности текстов. Это, можно сказать, был основополагающий стиль. Демонстративное пренебрежение сюжетом, логикой, психологией… Все равно ведь не!.. Главное – чтобы было видно, что гений и что не любит советскую власть… а там отделывать сюжет, то-се… Это пусть коммуняки делают, их кормят за это, а мы – люди свободные! Эта демонстрация свободы, в ущерб форме и содержанию, распространена была почти как норма. Такое вот «ошибочное упоение» некоторое время владело и Довлатовым. Из той пачки помню один рассказ – кажется, «Случай на заводе имени Кулакова». Жена приезжает навестить заключенного – но охранники ставят ей условие: сначала «посетить» их. «Делай, как говорят начальники!» – злобно хрипит зек. В «Зоне» это хорошо пригодилось… но тогда этот клочок текста не занимал, помнится, даже страницы. Гляделся только лишь как вызов –   
и все. Мол, еще и работать на этих коммунистов, качество выдавать? Не дождутся! Заботиться еще о каком-то развитии сюжета, углублении психологии, как это делают презренные «совки»? Никогда! Нам главное –   
заклеймить, плюс показать свою непримиримость и гениальность, а остальное все – не наша забота! Где это в лучшем случае могло быть напечатано? В каком-нибудь «Молодом Ленинграде» – среди других таких же недоделанных проб пера. Со временем умный Довлатов осознал – куда ни адресуй, хоть и в логово врага, надо дорабатывать, делать сочинение печатным по форме, лишь потом появится право сетовать на непроходимость содержания. О той стадии он сам потом безжалостно написал: «Строжайшая установка на гениальность мешала овладению ремеслом». Он это понял и стал работать… А многие из той когорты так и остались воинственно стоять с клочками в руках – вот, загубили! Но те клочки, увы, нечитаемы ни при какой погоде! Виртуозность Довлатова еще и в том, что он блестяще написал о глумлении режима над шедеврами, которых тогда у него, на самом деле, еще и не было. И история об этом под названием «Ремесло» только и есть реальный шедевр – а то «ремесло», которым он якобы владел уже давно, те «загубленные шедевры», над которыми глумились злодеи, в реальности еще не существовали. Ловко. Экономно. То есть он блестяще выиграл игру с шестерками на руках, которые он тут же бросил «рубашками» вверх и никогда никому их потом не показывал... но – выиграл.

Свидетельства Сергея о том, что после армии он оказался в Ленинграде с «Зоной» в рюкзаке, оказываются очередной его мистификацией, необходимой в нужный момент для новой, более выигрышной версии его биографии – но реальности это не соответствует. Нет никого из самых преданных его друзей, кому бы он показал окончательно сделанную им «Зону» уже тогда. Да что говорить – если окончательный вариант «Зоны» включает и уже нью-йоркские эпизоды.

То, что было в его рюкзаке – и та «Зона», которой он покорил всех, отличаются, как трава и молоко. Хотел поначалу написать «навоз и молоко» – но это, наверное, слишком грубо.

Самое ужасное, что он ощутил, оглядевшись в литературном мире, – что «Зону», как она есть сейчас, наверняка не напечатают – и, увы, вовсе не из-за темы. Ведь выходят уже «Колымские рассказы» Шаламова и «Один день Ивана Денисовича» – значит, литературная ситуация не так уж безадежна. Безнадежен, пока, он. И именно это – а не «происки реакции», на которые привычно все валят, повергало Довлатова в отчаяние.

Повесть его, уже позже, долго не лезла и в «эмигрантские ворота» –   
для них как раз было мало «ужаса застенков»… Так в каких же «воротах» встретят ее с триумфом и музыкой? Таких «ворот» не было. Их предстояло построить. Все его попытки как-то вписаться в литературную реальность тех лет говорят о полной растерянности. Здешняя вохра оказалась более суровой, более высокомерной, более неискренней, запутанной и коварной – и стать любимцем ее так легко, как это удалось в лагере, здесь Довлатову не удалось. Бережок покруче будет! Здешняя вохра будет позлей – требования у нее повыше!

Его жена Лена пишет, что Довлатов, даже встав с похмелья, тут же садился за стол и писал.Что он тогда писал?

Однажды я подарил Сергею, –пишет Веселов, – портрет Фолкнера с цитатой на обороте:«Нигде – ни в мирных долинах, ни в безмятежных тихих заводях старости, ни в зеркале детских очей, в которых увидят они отражение прошлых бедствий и грядущих надежд – нигде не покинет их это воспоминание». Имелось в виду, конечно, не убийство Кристмаса из «Света в августе», а некое общее для нас воспоминание. Ради него и была выписана цитата. Сергей мимо ушей пропустил риторику Фолкнера, но вцепился в слово «заводи». Скоро я прочитал: «Когда-то мы скакали верхом, а теперь плещемся в троллейбусных заводях».

Это был рассказ «Когда-то мы жили в горах», опубликованный в весьма популярном журнале «Крокодил», – одна из первых довлатовских публикаций.

Кстати, с рассказом этим сразу же случился скандал. В нем не увидели ни южной патетики, ни лиризма – ничего, кроме зубоскальства. Из Армении в редакцию журнала хлынул поток гневных писем от «трудовых коллективов», общественных организаций, от Тиграна Петросяна, чемпиона мира по шахматам.   
Я видел письмо на бланке Академии наук Армянской ССР.

С одной стороны, Довлатов немного гордился этой вдруг сразу обрушившейся на него популярностью, хранил и невзначай показывал все эти «знаки внимания», с другой стороны – был напуган и даже ошеломлен. Он все же не исключал (как один из вариантов) и успех в официальной литературе, которая тогда являла как раз примеры вольности и некоторой привлекательности… и вдруг, сразу, такой удар! Неужто –   
«никогда?» Что же делать?

Попытка прильнуть к армянским истокам и на этом как-то выиграть обернулась провалом. Но мудрый армянин Довлатов сделал тут, я думаю, правильный вывод: что общество несовершенно – это понятно, важнее сосредоточиться на совершенстве рассказов. Хотя несовершенство нашего общества тоже в конце концов «достало» его. Но главный наш с вами интерес – проследить, как Довлатов «делал» себя, с самого начала пути. Если не знаешь, что делать, – делай себя. Поднимай свое имя. Это он умел. Довлатов обладал врожденной способностью «заваривать кашу», возбуждать жуткий скандал и оказываться в центре его. Способность для писателя весьма ценная!.. хотя и не самая главная.

А какие писатели были тогда! Еще в 1958 году вышел замечательный роман Абрамова «Братья и сестры». В 1963 году он написал правдивый очерк о колхозных делах «Вокруг да около», за который получил специальное постановление ЦК. И четыре года его не печатали. В Питере –   
сказали ему – тебе не печататься. В 1967 году в «Новом мире» вышло продолжение романа «Братья и сестры» – на этот раз встреченный с восхищением. Абрамова восхваляли – правда. извинений за четырехлетние гонения никто не принес – не в их это стиле.

В 1962 году вышел все перевернувший роман Солженицына «Один день Ивана Денисовича». В 1963 году этот роман вышел в «Роман-газете» тиражом в два миллиона экземпляров! И Солженицын был сразу же выдвинут на Ленинскую премию – которую, правда, ему не дали.   
И хорошо, что не дали! Хотя и этим, я думаю, Солженицына было бы не сбить с его пути.

С конца пятидесятых и все шестидесятые и семидесятые выпускал книгу за книгой Юрий Казаков с прекрасными деревенскими и северными рассказами, продолжая прекрасную бунинскую, русскую традицию.

Засиял Юрий Трифонов – с его психологичностью, обстоятельностью, глубоким знанием жизни и истории – сравнить с ним тогда было некого. И писал он остро, бесстрашно, «на грани».

То были годы великой победы великих писателей, вернувших нам славу, и годы появления новой литературы, не похожей на прежнюю, я бы точнее сказал: непохожей на предыдущую, предшествующую, советскую – а похожей скорее на давнюю, почти забытую, затейливую литературу двадцатых–тридцатых.

Появился веселый, вольный, городской модник, любимец интеллигенции Вася Аксенов (что все его звали Васей – говорит о близости и любви). Высокая, учительская литература чуть утомляла, и тут – свой парень, с нашими замашками и привычками! Ура! Такой любви и славы не было ни у кого ни до, ни после… Так что неизвестно еще, кто больше теснил тогда Довлатова – чужие или свои. Думаю, он все-таки больше мучился из-за «наших» – советские уже уходили навсегда.   
А вот новые! Было ясно, что даже если у него вдруг все наладится – стать первым тут у него не выйдет.

Краем уха все о нем слышали, но литературная жизнь того времени была такой насыщенной и увлекательной, что его появление (так же как, перед тем, и исчезновение) сильного впечатления ни на кого не произвело. Уже только в одном Питере блистали на всю страну Битов, Бродский, Горбовский. Кушнер, Уфлянд, Рид Грачев. Уже все знали наизусть (пока что не из печати, а только с голоса) короткие, звонкие, накачанные и прыгучие, как футбольный мяч, рассказики гениального Голявкина.

Самыми яркими фигурами той поры в ленинградской компании, сразу приковывающими взор, были, конечно, Битов и Вольф. С прелестным Вольфом контачили все. Хотя при долгом контакте он изматывал любого. При ужасной безответственности, в сочетании с халявной цепкостью, Вольф тем не менее радовал глаз.Возникало что-то вроде того: как вкусно, однако, быть писателем! Неужели и ты когда-то будешь так же ярок и привлекателен, как Вольф? По-писательски мятый клетчатый пиджак, грубые ботинки, брюки-галифе, несомненно, писательская бородка и такая же трубка. Очаровательный взгляд в упор, как бывает у близоруких, добродушный и в то же время какой-то шальной. И даже запах табака из всегда беззубого рта был какой-то неповторимо вольфовский, притягательный. Пузатых советских классиков мы воспринимали с насмешкой, а Вольфа тоже с насмешкой, но радостной. И хотя он благополучно печатался в советском (и кстати, высококлассном) Детгизе, тем не менее казалось, что с Вольфом двигаешься куда-то на Запад, к битникам и Хемингуэю, и на месте не стоишь. Чтобы в те годы считаться перспективным писателем – надо было отметиться с Вольфом. Довлатов отметился.

Путь Вольфа в литературу был очарователен (хотя, может, и легковесен). Он рассказывал, как приехал в Москву, сразу нашел в «Нацио-  
нале», где тот проводил вечера, Юрия Олешу, и они подружились.  
В чем-то они были близнецы (помимо, увы, гениальности, которая была лишь у одного) – но оба любили вкусно выпить, уютно поговорить, оба были необязательны в обещаниях, оба ленивы и в то же время – легки на подъем, оба не тщеславны в общественной карьере и оба больше всего ценили кружевное письмо.

Поздним вечером они расставались, Вольф радостно перелезал через ограду в какой-то московский парк (не уверен, что безалаберный Вольф знал хотя бы его название), спокойно и счастливо засыпал, рано утром бодро вставал, купался, чистил зубы и шел в гости к Олеше, который высокопарно представлял Вольфа «мой юный коллега», они завтракали, пили коньяк и в клубах табачного дыма, пронизанного солн-  
цем, говорили о литературе.

Господи! Мы жили в то время, когда можно было не спеша побеседовать с Олешей! Что ж сетовать на те времена? Во всяком случае –   
Вольф карьеру свою уже сделал, в том смысле, что личность свою уже полностью пристроил, как нравилось ему – и на первых порах мы с удовольствием шли за ним в фарватере – чаще всего к ресторану «Восточный», где Вольф умел сибаритствовать на четыре рубля, и этому научил и нас. Приятно было увидеть там, в один вечер, и Бродского, и Голявкина, и уже тода легендарного битника Хвостенко, и многих других, с кем было уютно и не страшно. И с каждым глотком сухого росла уверенность, что эта эпоха – наша. Вот так мы понемножку и притирались, косились друг на друга, как стайеры в начале забега.

Битов был мрачен и тяжеловат. Голова непропорционально велика к телу (как и у меня). Его медленный взгляд вызывал озноб и чувство какой-то зависимости от него. Однажды мы шли с ним по Москве и увидели вывеску – кажется. «Молодая гвардия». «Зайдем-ка!» – мрачно сказал он. Мы зашли и вышли через полчаса, я – с чувством колоссального облегчения: наконец-то закончилась эта неловкость, а Битов – по-прежнему мрачный, но с договором на руках, который он «проломил» тяжело и стремительно, при этом почти не разговаривая – суетилась редакторша.

На самом деле – тогда не было уже никакой советской идеологии, буквы из «Правды» никто в душу не брал, редакторы тоже заканчивали университет, и обожали, соответственно, Кафку, Джойса и Пруста, и пытались обожать нас: каждый редактор мечтал найти хоть что-то яркое, в духе прогрессивного времени и «протолкнуть» (желательно не ссорясь с начальством) – и Битов эту их страстную мечту в точности осуществлял… пока не выпустил за границей «Пушкинский дом» – после чего сделался вообще всеобщим кумиром. Побеждают буйволы 1937 года рождения – года Быка.

И главное – та блестящая плеяда, в которой так важно было быть, вела открытую, бурную жизнь, лишенную какой-либо кастовости и чванства, и чтобы оказаться рядом с ней, нужно было всего лишь прийти в источающий дивные запахи ресторан «Восточный», сесть с ними за стол и заказать бутылку сухого. И дальше уже – никаких препятствий. Читай свои рассказы хоть прямо здесь.Что-то подобное было, наверное, в «Серебряный век». А этот, наверно, можно назвать, к примеру, мельхиоровым, потому как ножи и вилки к замечательным и дешевым закускам подавались там из мельхиора… где найдешь такое теперь? И свою оценку все получали сразу… другое дело, что власть не особо спешила ценить своих гениев... но это уже ее, а не наша ощибка. Довлатов тоже там, по воспоминаниям, бывал… Но как-то еще «не в фокусе». В те «ресторанные гении» он не успел.

Скорее всего, мы могли первый раз «пересечься взглядами» с Довлатовым в известном тогда литературном салоне Ефимовых, что существовал на Разъезжей улице в небольшой комнате в коммуналке, что нисколько не преуменьшало его значения и влияния. В один вечер там могли оказаться и Бродский, и Уфлянд, и Кушнер, и Марамзин, и Боря Вахтин, и Рейн, и Владимир Соловьев с женой Леной Клепиковой, и много других, что в этот текст не влезают по причине его сжатости. И кому сесть было негде, тот стоял. Накал веселья и разговоров был такой, что порой забывалось, сидишь ты или стоишь, и вдруг выяснялось, что ты давно уже стоишь, и рюмку не на что поставить. В той толпе, что собиралась у Ефимовых в званые дни, были знакомы не все, знакомились постепенно – и оказывалось, что вы уже знакомы заочно.

Конечно – с официальной репутацией было трудно… Но кого это колыхало тогда?! Не представляю себе дурака, которой кинулся бы за оценкой своего творчества в Смольный. Такие наверняка были – но мы их не знали. Главное – среди своих удержаться, марку не уронить! Вот среди своих… это – остро. Компания была «нобелевская!» Кафка тут был как свой – но уверен, никто из присутствующих не знал имени второго секретаря обкома по идеологии, да и первого!

Правильная жизнь тогда была! Многие молодые писатели, которые стопроцентно не знали имени второго секретаря по идеологии, да и не хотели знать, так же как и фамилий разных там главных редакторов, зато страстно завидовали тем, с кем чокались и общались… Вот где была игра! Многие завидовали тогда вдруг появившейся группе «Горожане»: почему их четверо, почему не пригласили меня? Чем они лучше, чем привлекли друг друга? Почему они так вдруг выделились? Хотят подчеркнуть, что лишь они достойны друг друга – и больше   
никто? Помню – я, узнав о них, не то чтобы удивился или обиделся… скорее, задумался о себе. Что за судьба? (Тогда она лишь угадывалась –   
но подтвердилась.) Почему я всегда только так – «на отшибе обоймы», не попадаю в группы, иду один? Ведь казалось – я с ними, как равный… с каждым из них мы были знакомы, хвалили друг друга. и вдруг! В «Горожанах» сошлись писатели заметные: умный, основательный Игорь Ефимов, с такой же, как он сам, прозой, уверенный и уже успешный Борис Вахтин, с его роскошными текстами (сын Веры Пановой, ученый-востоковед), яростный и стремительный Марамзин, солидный инженер и весьма энергичный мужчина в свободное время, с его короткими «ударными» рассказами, четвертый был Володя Губин, работавший по газу, «из простых» – но, пожалуй что, из всех наибольший виртуоз слова. Повторяю – они были известны и сами по себе, но, объединившись в группу с серьезным названием, почему-то сразу выиграли… А я бы, мне кажется, проиграл... Вот и стой «на отшибе»!

Их сразу полюбил Александр Володин, великий драматург, всегда рвущийся как-то нарушить сонный покой, сделать что-то дерзкое, и за «Горожан» он взялся страстно. Они читали с ним в театрах, в НИИ, везде, где клубилась «передовая интеллигенция» – Вахтин рано, абсолютно неожиданно умер. Марамзин уехал после скандала и небольшой отсидки. Ефимов – без скандала, но тоже уехал. Самый непредприимчивый – и, может быть, самый талантливый, Володя Губин тихо прожил в Купчино, продвигаясь лишь по газовой линии… Его книжку теперь можно прочесть – но интерес она вызывает лишь исследовательский: «Надо же, как затейливо писали! И ради чего?» Тогда важнее было (в нашей среде) – не что, а как! И в этом Губин был мастером непревзойденным! В сущности, роскошь письма и была у них содержанием, главным «посылом» их душ. И теперь вдруг оказалось – не интересно! Сейчас столь затейливое письмо может всплыть вдруг совершенно неожиданно в произведениях кого-нибудь из эмигрантов. Порывая с тем временем, они на самом деле увезли его с собой и бережно сохранили –   
а у нас никто уже так давно не пишет, все переменилось тысячу раз.

Но «Горожане», однако, звучали тогда. Хорошая «вывеска» тоже многого стоит.

Хоть членом Союза писателей никто из нас еще не был тогда, но в Дом писателей на улице Войнова мы ходили активно. Помимо пленумов и собраний, которые никто из нас, естественно, вниманием не удостаивал, там был еще ресторан резного черного дерева, с огромными окнами на Неву, где, наряду с бывшими, клубились и будущие – знакомились, договаривались, самоутверждались. И вообще – тогда это было светское место, центр общественной обновленной мысли. Социолог с характерной фамилией Ядов при огромном скоплении публики желчно сообщал, что творческих людей требуется обществу не более полпроцента, остальные – тупые исполнители… и зал замирал от восторга: «Правду режет! Впервые в этих стенах!» Историк Эйдельман переворачивал историю кверх ногами: знаменитые цари у него выходили бездарными, а непопулярные, например Павел I, – замечательными. Публика, жадно внимая этой столько лет скрываемой правде, не вмещалась в огромный актовый зал с ангелочками по стенам и толпилась на роскошной мраморной лестнице с шереметевскими витражами. Помню, как в этом центре современной мысли выступал смелый – как это было принято тогда – сексолог Свядощ. Раньше мы и слова такого не знали – «сексолог», доверяли лишь голому опыту. А тут! Смело говоря на прежде запретные темы, да еще и поворачивая их неожиданной стороной, лектор сообщил, например, что онанизм вовсе не вреден, как считала ханжеская советская наука, а очень полезен и даже необходим, –   
и тут же несколько человек с радостными криками выбежали из зала. Расходились просветленные – наконец-то!

После одной из таких шумных многолюдных лекций, буквально открывающей глаза на прежде невидимое, в густой толпе, перемещавшейся из зала в кабак, чтобы отметить победу прогресса, мы и познакомились окончательно с Сергеем Довлатовым – после мимолетной встречи в доме Ефимова, теперь мы стали решительно проталкиваться друг к другу и, наконец, пожали руки.

Смущаясь и заикаясь (преувеличивая, как я теперь понимаю, свое смущение), он спросил, не может ли он почитать свои рассказы на молодежной секции при Доме писателей, в которой я, кажется. считался старостой.

– Конечно! – радостно, как обычно, вскричал я. Еще не хватало нам кичиться и чваниться друг перед другом! Пусть этим занимаются те, в кабинетах!

Был это, кажется, 64-й год. Помнится, он читал в мавританской гостиной с витражами и резными креслами… тогда все те залы, витражи и кресла мы не считали чем-то особенным: молодым дарованиям положено. И разгадали лишь потом, в перестройку, что то была хитрость, ловушка, западня советской власти – и резко избавились от всего этого.

В памяти от той читки остался лишь скандал, который устроила молодая и талантливая Вика Беломлинская… Я, со своим радушием, граничащим с равнодушием, совершил дикую бестактность – оказывается, она должна читать на секции первой, было договорено, и этот нахал Довлатов, с его фальшивой робостью, нагло влез без очереди благодаря мне. Помню, я задумчиво глядел на разъяренную Вику. Вот, видать, с какой энергией надо пробиваться в литературу… или, по крайней мере, с такой изворотливостью, как Довлатов. А ты что?

Надо сказать, что Беломлинская ярилась не зря и все просекла точно. Уже в Америке, где были не заседания литературных кружков, а настоящая битва за жизнь, Довлатов тоже «подрезал» ее довольно   
изящно, заняв место на радио «Свобода», на которое рассчитывала она…но как выясняется потом – все происходит правильно и закономерно.

Тогда же, выбитый из колеи энергичным выпадом Вики, я больше думал о своих проблемах, чем слушал Довлатова. Впрочем – если что, ухо бы «оттопырилось». А так… я лишь зафиксировал: «Наш человек. Наши хохмочки. Наша “фига в кармане”. Яркий. И – наш». Кто потом выбрался из этой уютной западни («свой парень!») и прошел путь? Никого больше не вспомню. Предположу, что Довлатов тогда шел с палкой вброд, прощупывая, пройдет ли тут большой корабль – «Зона», и под каким флагом пройдет?

Уже вышли с лагерной темой Солженицын и Шаламов… но они-то «сидельцы и страдальцы», перед которыми все склоняются… А он – кто? И – куда? Не видно «пути к причалу», который уже нашел тогда, скажем, непримиримый Конецкий.

Все эти годы Довлатов производил в основном ощущение разгильдяя, безусловно, одаренного некоторыми способностями, но бессмысленно прожигающего их в раздрызганной, пьяной жизни, в которой он все не доводил до ума, бросал, проигрывал, проваливал даже самые простые ситуации, разбивал свое лицо неаполитанского красавца о все встречные столбы, а порой даже словно искал их специально.

Общались ли мы тогда с Довлатовым часто? Ни за что! Слишком «тесное общение» двух, скажем, автомобилей нежелательно и даже опасно. Кажется, Чаплин, бессмысленно проведя два часа с Ганди –сказал, что большие люди, как планеты, не созданы для слишком близких встреч.

Несколько раз оказываясь с Довлатовым в компаниях, я сразу открыл, что даже выпиваем мы в разных ритмах. Даже не сказать, что он быстрее, а я медленнее или наоборот... просто – разнобой. И каждый, стараясь приспособиться к другому, чувствует себя скованно и много теряет. То же самое относится, кстати, и к литературной работе – не теснота нужна, а простор! О каком же можно говорить общем – или даже похожем – пути? Путь у каждого разный – хотя чувствовать себя в какое-то время вместе с другими надо, иначе страшно. Слава богу – мы не связаны. Но и не одиноки. Есть еще люди, полные надежд – и примерно в той же ситуации, что и ты. Значит – и твоя ситуация не безнадежна. Приглядись, оцени. Так что, вполне оценив друг друга в литературном смысле, дальше мы не особенно стремились к тому, чтобы гарцевать друг перед другом. Но все же в весьма интенсивном бурлении тех лет жизнь нас с Довлатовом сводила, и я помню те разы очень четко.

Однажды я проснулся в компании Довлатова, на квартире брата Бориса, который там тоже присутствовал.

Разлепив веки, я увидел Довлатова перед зеркалом, разглядывающим себя.

– Да… – увидев, что я проснулся, усмехнулся он. – …Как говорит Попов: «С красотой что-то странное творится!»

Вскоре появился спокойный и вроде бы рассудительный Грубин. Помню плавное и какое-то размеренное, но неумолимое нарастание абсурда в наших хождениях по утреннему городу… В поисках чего? Похмелились мы уже не раз и не два… Теперь я понимаю, что вело Сергея. Ожидание новых происшествий с его героем (и с ним самим), нарабатывание нового сюжета. Шла неявная, но постоянная и нацеленная работа по превращению «жидкого молока» жизни в «густую сметану» довлатовской прозы… но я в этой «лаборатории» долго не выдержал и собрался уйти домой.

Довлатов вдруг тоже сказал, что хочет домой и приглашает меня к нему в гости. Хотя я и устал от бессмысленности происходящего, отказываться было невежливо. Мы простились с его свитой, уже значительно разросшейся после посещения многих злачных мест, и свернули с Невского на Рубинштейна. Видно, с моей помощью Довлатов решил как-то сориентироваться в нынешней литературной жизни. Или хотел «сфотографироваться» на всякий случай? И вышло! На самом деле – он собирал о нас материал, из которого получилась потом «Невидимая книга» – первая его заметная публикация. И многие, кто, казалось, тогда преуспевал и смотрел на Довлатова свысока, – останутся в литературе лишь как персонажи той книги.Он кидал нас в свою книжку. Он –   
копил. «Фотография» моя в его воспоминаниях сохранилась: о моей любви и похождениях с гусеницей, к которой я потом охладел. Что-то в духе моих ранних рассказов, в том числе и устных, он, безусловно, схватил. Мое воспоминание проще: мы купили в гастрономе на Рубинштейна бутылку и пошли к нему. Помню тесную комнату, большую часть которой занимал огромный дореволюционный буфет.Такой же стоял и дома у нас. Довлатов достал стопки и собирался разлить – но тут вошла его мама, Нора Сергеевна, Я встал, поклонился. «Познакомься, мама, – сказал Серега. – Это Валера Попов!» – «Хорошо, что Попов, но плохо, что с бутылкой». «Это моя бутылка!» – Сергей мужественно взял вину на себя. «Нет, моя!» – мне не хотелось уступать ему в благородстве. «Если не знаете чья, значит – моя!» – усмехнулась мама и унесла бутылку. Еще один довлатовский сюжет.

Потом я еще несколько раз встречал Довлатова в алкогольных парах. Понемногу Довлатов снова стал заметен и всем привычен. Но все как бы стояло на месте, все порывы заканчивались ничем. Как четко сформулировал сам Довлатов: «Чем ни закусывай – блюешь все равно винегретом».

В июне 1966 года у Лены и Сережи родилась дочь Катя. Это событие, безусловно, было спасительным для Сергея.

Катя заставила Довлатова как-то собраться. Да, образцовым отцом и заботливым семьянином Довлатов не был. Порою носил грудную Катю в большой сумке, ходил по делам, вынимал из сумки бумаги – и люди с удивлением видели, что там еще находится и грудной ребенок. И тем не менее именно Сергей вдруг как-то оказался главной нянькой маленькой Кати – в садик и в поликлинику по ее делам ходил именно он, когда она стала ходить, в основном он гулял с ней, на ходу сочиняя сказки и детские стишки. Потом он же добился, чтобы Катя (как когда-то он сам) попала на лето в знаменитый Артек на Черном море. Катя в жизни Довлатова – главная отрада, любовь, а в конце (и особенно уже после его смерти) – помощница и «хранительница». И когда Сергея заносило –   
о ком он больше всего вспоминал? О Кате!

Вспоминаю встречу: Я иду по Садовой мимо розового Инженерного замка, навстречу мне идут два красавца: изящный – Толя Найман, огромный – Сережа Довлатов. Лето, тепло… левой мощной рукой Сергей грациозно-небрежно катит крохотное креслице с младенцем.

– Привет!

– Привет. Вы куда? – спрашиваю я.

– В Летний сад.

– А я – на Зимний стадион!

Быстро, на ходу сверкнули слова – пусть не алмазные, но для мемуаров вполне пригодные.

Тогда, при встрече на Садовой, рядом с ним шел Толя Найман. Пара не хуже, чем Герцен с Огаревым – тогда речи Толи Наймана оказывали на Сергея определяющее влияние. Толя постоянно пугал Довлатова тем, что он вот-вот станет «современным прогрессивным писателем», борющимся за назревшие в обществе перемены и т. д. – и слава богу, уберег.

Высокие, я бы сказал – снобистские требования к литературе, вообще свойственные надменным ценителям той поры, бывали порой обидны для начинающего писателя (чего они все мне этим Набоковым тычут?), но для закалки необходимы. Мнением снобов, представляющих на самом деле лишь тончайшую пленку над глубинами жизни, при этом не желающих считаться больше ни с кем и не желающих знать реалии ни жизни, ни литературы, – чаще всего только их мнением и создается литературный авторитет и успех. Так было и тогда, и сейчас. Снобами в Ленинграде, особенно среди тех, кто как-то связан со словом, были практически все – и даже те, кто на работе писал передовицы, – вечером   
стягивали с полки Кафку или Набокова. И чем ничтожнее был этот сноб, чем рванее была его обувь – тем он был строже и неумолимей. Какая там «вохра», на вкус которой решил Довлатов ориентировать свои сочинения! Тут шакалы другие! И куда деться от них? Они судят тебя! Даже если работают, скажем, в комиссионном магазине – ниже Набокова им никого не подавай! Такой литературный настрой и хорош, и плох. И надо угодить им – иначе никогда ты «не будешь в списке».Но они твоих книг не купят – им придется с поклонами дарить, и при этом надо как-то не забыть про нормальных читателей, которые захотят твою книгу купить, при этом снобы не простят тебе ни малейшей занимательности – фи! И вот кто на самом деле будет главным судьей твоей литературы! Им, наглым и ленивым, ты должен понравиться!

Считаю – именно поэтому Довлатов так долго не выходил окончательно со своей «Зоной», думая и просчитывая, – надо было, при всем ее большом объеме, точно вдеть ее в «игольное ушко», чтобы не проиграть самый ценный имеющийся у него материал.

Но между тем – лучшего времени для того, чтобы стать хорошим писателем, в нашем городе – да и в Москве, не было и уже вряд ли будет. Сейчас-то намного трудней, и безнадежней – литературу вообще стирают в порошок, чтобы втюхивать «конвейерные» издательские поделки. А тогда – совсем иное было умонастроение – литература была в цене и привлекала лучших. И – привлекла.